

Варлам Шаламов

Перчатка



*Часть сборника
Преодоление зла (сборник)*



Перчатка, или КР-2

Варлам Шаламов

Перчатка

«ФТМ»

Шаламов В. Т.

Перчатка / В. Т. Шаламов — «ФТМ», — (Перчатка, или КР-2)

ISBN 978-5-457-12452-3

«Где-то во льду хранятся рыцарские мои перчатки, облежавшие мои пальцы целых тридцать шесть лет теснее лайковой кожи и тончайшей замши Эльзы Кох...»

ISBN 978-5-457-12452-3

© Шаламов В. Т.

© ФТМ

Содержание

* * *

5

Конец ознакомительного фрагмента.

10

Варлам Шаламов

Перчатка

Ирине Павловне Сиротинской

* * *

Где-то во льду хранятся рыцарские мои перчатки, облежавшие мои пальцы целых тридцать шесть лет теснее лайковой кожи и тончайшей замши Эльзы Кох.

Перчатки эти живут в музейном льду – свидетельство, документ, экспонат фантастического реализма моей тогдашней действительности, ждут своей очереди, как тритоны или целоканты, чтобы стать латимерией из целокантов.

Я доверяю протокольной записи, сам по профессии фактограф, фактолов, но что делать, если этих записей нет. Нет личных дел, нет архивов, нет историй болезни...

Документы нашего прошлого уничтожены, караульные вышки спилены, бараки сровнены с землей, ржавая колючая проволока смотана и увезена куда-то в другое место. На развалинах Серпантинки процвел иван-чай – цветок пожара, забвения, враг архивов и человеческой памяти.

Были ли мы?

Отвечаю: «были» – со всей выразительностью протокола, ответственностью, отчетливостью документа.

Это рассказ о моей колымской перчатке, экспонате музея здравоохранения или краеведения, что ли?

Где ты сейчас, мой вызов времени, рыцарская моя перчатка, брошенная на снег, в лицо колымского льда в 1943 году?

Я – доходяга, кадровый инвалид прибольничной судьбы, спасенный, даже вырванный врачами из лап смерти. Но я не вижу блага в моем бессмертии ни для себя, ни для государства. Понятия наши изменили масштабы, перешли границы добра и зла. Спасение может быть благо, а может быть и нет: этот вопрос я не решил для себя и сейчас.

Разве можно держать перо в такой перчатке, которая должна лежать в формалине или спирте музея, а лежит на безымянном льду.

Перчатка, которая за тридцать шесть лет стала частью моего тела, частью и символом моей души.

Все окончилось пустяками, и кожа опять выросла. Выросли на скелете мышцы, пострадали немного кости, искривленные остеомиелитами после отморожений. Даже душа выросла вокруг этих поврежденных костей, очевидно. Даже дактилоскопический оттиск один и тот же на той, мертвой перчатке и на нынешней, живой, держащей сейчас карандаш. Вот истинное чудо науки криминалистики. Эти двойни-перчатки. Когда-нибудь я напишу детектив с таким перчаточным сюжетом и внесу вклад в этот литературный жанр. Но сейчас не до жанра детектива. Мои перчатки – это два человека, два двойника с одним и тем же дактилоскопическим узором – чудо науки. Достойный предмет размышлений криминалистов всего мира, философов, историков и врачей.

Не только я знаю тайну моих рук. Фельдшер Лесняк, врач Савоева держали ту перчатку в руках.

Разве кожа, которая выросла, новая кожа, костевые мускулы имеют право писать? А если уж писать – то те самые слова, которые могла бы вывести та, колымская перчатка – перчатка работяги, мозолистая ладонь, стертая ломом в кровь, с пальцами, согнутыми по

черенку лопаты. Уж та перчатка рассказ этот не написала бы. Те пальцы не могут разогнуться, чтоб взять перо и написать о себе.

Тот огонь новой кожи, розовое пламя десятисвечника отмороженных рук разве не был чудом?

Разве в перчатке, которая приложена к истории болезни, не пишется история не только моего тела, моей судьбы, души, но история государства, времени, мира.

В той перчатке можно было писать историю.

А сейчас – хотя дактилоскопический узор одинаков – рассматриваю на свет розовую тонкую кожу, а не грязные окровавленные ладони. Я сейчас дальше от смерти, чем в 1943 или в 1938 году, когда мои пальцы были пальцами мертвеца. Я, как змей, сбросил в снегу свою старую кожу. Но и сейчас новая рука откликается на холодную воду. Удары отморожения необратимы, вечны. И все же моя рука не та рука колымского доходяги. Та шкура сорвана с моего мяса, отслоилась от мышц, как перчатка, и приложена к истории болезни.

Дактилоскопический узор обеих перчаток один: это рисунок моего гена, гена жертвы и гена сопротивления. Как и моя группа крови. Эритроциты жертвы, а не завоевателя. Первая перчатка оставлена в Магаданском музее, в музее Санитарного управления, а вторая принесена на Большую землю, в человеческий мир, чтобы оставить за океаном, за Яблоновым хребтом – все нечеловеческое.

У пойманных беглецов на Колыме отрубали ладони, чтобы не возиться с телом, с трупом. Отрубленные руки можно унести в портфеле, в полевой сумке, ибо паспорт человека на Колыме – вольняшки или заключенного-беглеца один – узор его пальцев. Все нужное для опознания можно привезти в портфеле, в полевой сумке, а не на грузовике, не на «пикапе» или «виллисе».

А где моя перчатка? Где она хранится? Моя рука ведь не отрублена.

Глубокой осенью 1943 года, вскоре после нового десятилетнего срока, не имея ни силы, ни надежды жить – мускулов, мышц на костях было слишком мало, чтобы хранить в них давно забытое, отброшенное, ненужное человеку чувство вроде надежды, – я, доходяга, которого гнали от всех амбулаторий Колымы, попал на счастливую волну официально признанной борьбы с дизентерией. Я, старый поносник, приобрел теперь веские доказательства для госпитализации. Я гордился тем, что могу выставлять свой зад любому врачу – и самое главное – любому не-врачу, и зад выплюнет комочек спасительной слизи, покажет миру зеленовато-серый, с кровавыми прожилками изумруд – дизентерийный самоцвет.

Это был мой пропуск в рай, где я никогда не бывал за тридцать восемь лет моей жизни.

Я был намечен в больницу – включен в бесконечные списки какой-то дыркой перфокарты, включен, вставлен в спасительное, спасательное колесо. Впрочем, тогда о спасении я думал меньше всего, а что такое больница и вовсе не знал, подчинялся лишь вековечному закону арестантского автоматизма: подъем – развод – завтрак – обед – работа – ужин, сон или вызов к уполномоченному.

Я много раз воскресал и доплывал снова, скитался от больницы до забоя много лет, не дней, не месяцев, а лет, колымских лет. Лечился, пока не стал лечить сам, и тем же самым автоматическим колесом жизни был выброшен на Большую землю.

Я, доходяга, ждал этапа, но не на золото, где мне только что дали десять лет добавки к сроку. Для золота я был слишком истощен. Моей судьбой стали «витаминные» командировки.

Я ждал этапа на комендантском ОЛПе в Ягодном – порядки транзита известны: всех доходяг выгоняют на работы с собаками, с конвоем. Был бы конвой – работяги есть. Вся их работа никуда не записывается, их выгоняют насильно – хоть до обеда – долби ямки ломом в мерзлой земле или тащи бревна на дрова в лагерь и хоть пеньки пили в штабелях, от поселка за десять километров.

Отказ? Карцер, трехсотка хлеба, миска воды. Акт. А в 1938 году за три отказа подряд – расстреливали всех на Серпантинке, следственной тюрьме Севера. Хорошо знакомый с этой практикой, я и не думал уклоняться или отказываться, куда бы нас ни приводили.

В одном из путешествий нас завели в швейпром. За забором располагался барак, где шили рукавицы из старых брюк и подошвы тоже из ватного куска.

Новые брезентовые рукавицы с кожаной обшивкой держатся на бурении ломом – а я бурил немало ручным бурением – держатся около получаса. А ватные – минут пять. Разница не слишком велика, чтобы можно было рассчитывать на завоз спецодежды с Большой земли.

В Ягодинском швейпроме рукавицы шило человек шестьдесят. Там были и печки, и забор от ветра – очень мне хотелось попасть на работу в этот швейпром. К сожалению, согнутые черенком лопаты и кайловищем пальцы забойщика золотого забоя не могли удерживать иголки в правильном положении, и даже чинить рукавицы взяли людей сильнее меня. Мастер, наблюдавший, как я справляюсь с иглой, сделал отрицательный жест рукой. Я не сдал экзамена на портного и приготовился в дальний путь. Впрочем, далеко или близко – мне было совершенно все равно. Полученный новый срок меня вовсе не пугал. Рассчитывать жизнь дальше чем на один день не было никакого смысла. Само по себе понятие «смысл» – вряд ли допустимо в нашем фантастическом мире. Вывод этот – однодневного расчета – был найден не мозгом, а каким-то животным арестантским чувством, чувством мускулов – найдена аксиома, не подлежащая сомнению.

Кажется, пройдены самые дальние пути, самые темные, самые глухие дороги, освещены глубочайшие уголки мозга, испытаны пределы унижения, побои, пощечины, тычки, ежедневные избиения. Все это испытал я очень хорошо. Все главное подсказало мне тело.

От первого удара конвоира, бригадира, нарядчика, блатаря, любого начальника я валился с ног, и это не было притворством. Еще бы! Колыма неоднократно испытывала мой вестибулярный аппарат, испытывала не только мой «синдром Меньера», но и мою невесомость в абсолютном, то есть арестантском, смысле.

Я прошел экзамен, как космонавт для полета в небеса, на ледяных колымских центрифугах.

Смутным сознанием я ловил: меня ударили, сбили с ног, топчут, разбиты губы, течет кровь из цинготных зубов. Надо скорчиться, лечь, прижаться к земле, к матери сырой земле. Но земля была снегом, льдом, а в летнее время камнем, а не сырой землей. Много раз меня били. За все. За то, что я троцкист, что я «Иван Иванович». За все грехи мира отвечал я своими боками, дорвался до официально разрешенной мести. И все же как-то не было последнего удара, последней боли.

Я не думал тогда о больнице. «Боль» и «больница» – это разные понятия, особенно на Колыме.

Слишком неожидан был удар врача Мохнача, заведующего медпунктом спецзоны Джелгала, где меня судили всего несколько месяцев назад. В амбулаторию, где работал доктор Владимир Осипович Мохнач, я ходил на прием каждый день, пытался хоть на день получить освобождение от работы.

Когда меня арестовали в мае 1943 года, я потребовал и медицинского освидетельствования, и справки о моем лечении в амбулатории.

Следователь записал мою просьбу, и в ту же ночь двери моего карцера, где я сидел без света, с кружкой воды и трехсоткой хлеба целую неделю – лежал на земляном полу, ибо в карцере не было ни койки, ни мебели, – распахнулись, и на пороге возник человек в белом халате. Это был врач Мохнач. Не подходя ко мне, он посмотрел на меня, выведенного, вытолканного из карцера, осветил фонарем мне лицо и сел к столу написать что-то на бумажке, не откладывая в дальний ящик. И ушел. Эту бумажку я увидел 23 июня 1943 года в ревтрибунале на моем суде. Ее зачили в качестве документа. В бумажке было дословно – я

помню тот текст наизусть: «Справка. Заключение Шаламов в амбулаторию № 1 спецзоны Джелгала не обращался. Заведующий медпунктом врач Мохнач».

Эту справку читали вслух на моем суде, к вящей славе уполномоченного Федорова, который вел мое дело. Все было ложью в моем процессе, и обвинение, и свидетели, и экспертиза. Истинной была только человеческая подлость.

Я даже не успел порадоваться в том июне 1943 года, что десятилетний срок – подарок ко дню моего рождения. «Подарок, – так говорили мне все знатоки подобных ситуаций. – Ты ведь не был расстрелян. Тебе не выдали срока весом – семь граммов свинца».

Все это казалось пустяками перед реальностью иглы, которую я не мог держать по-портновски.

Но и это – пустяки.

Где-то – вверху или внизу, я так и не узнал за всю мою жизнь – ходили винтовые колеса,двигающие паром судьбы, маятник, раскачивающийся от жизни до смерти, – выражаясь высоким штилем.

Где-то писались циркуляры, трещали телефоны селекторной связи. Где-то кто-то за что-то отвечал. И как ничтожный результат казеннейшего медицинского сопротивления смерти перед карающим мечом государства рождались инструкции, приказы, отписки высшего начальства. Волны бумажного моря, плещущие в берега отнюдь не бумажной судьбы. Доходяги, дистрофики колымские не имели права на медпомощь, на больницу по истинной своей болезни. Даже в морге патологоанатом твердо искажал истину, лгал даже после смерти, указывая другой диагноз. Истинный диагноз алиментарной дистрофии появился в лагерных медицинских документах только после Ленинградской блокады, во время войны было разрешено называть голодом голод, а пока доходяг клали умирать с диагнозом полиавитаминоза, гриппозной пневмонии, в редких случаях РФИ – резкое физическое истощение.

Даже цинга имела контрольные цифры, дальше которых врачам не рекомендовалось заходить в койко-дни, в группе «В» и «Б». Высокий койко-день, окрик высшего начальства, и врач переставал быть врачом.

Дизентерия – вот с чем было разрешено госпитализировать заключенных. Поток дизентерийных больных сметал все официальные рогатки. Доходяга тонко чувствует слабинку – куда, в какие ворота пропускают к отдыху, к передышке – хоть на час, хоть на день. Тело, желудок заключенного – не анероид. Желудок не предупреждает. Но инстинкт самосохранения заставляет доходягу смотреть на амбулаторную дверь, которая, может быть, приведет к смерти, а может быть, к жизни.

«Тысячу раз больной» – термин, над которым смеются все больные и медицинские верхи, – глубок, справедлив, точен, серьезен.

Доходяга вырвет у судьбы хоть день отдыха, чтоб снова возвратиться на свои земные пути, очень схожие с путями небесными.

Самое главное – это контрольная цифра, план. Попасть в этот план – трудная задача, каков бы ни был поток поносников – двери в больницу узкие.

Витаминный комбинат, где я жил, имел всего два места на дизентерию в районную больницу, две драгоценные путевки, и то отвоеванные с боем для «витаминки», ибо дизентерия прииска золотого или оловянного рудника или дизентерия дорожного строительства стоит дороже поносников витаминного комбината.

Витаминным комбинатом назывался просто сарай, где в котлах варили экстракт стланика – ядовитую, дрянную, горчайшую смесь коричневого цвета, сваренную в многодневном кипячении в сгущенную смесь. Эта смесь варилась из иголок хвои, которые «щипали» арестанты по всей Колыме, доходяги – обессиленные в золотом забое. Выбравшихся из золотого разреза заставляли умирать, создавая витаминный продукт – экстракт хвои. Горчайшая ирония была в самом названии комбината. По мысли начальства и вековому опыту мировых

северных путешествий – хвоя была единственным местным средством от болезни полярников и тюрем – цинги.

Экстракт этот был взят на официальное вооружение всей северной медицины лагерей как единственное средство спасения, если уж стланик не помогает – значит, никто не поможет.

Тошнотворную эту смесь нам давали трижды в день, без нее не давали пищи в столовой. Как ни напряженно ждет желудок арестанта любую юшку из муки, чтобы прославить любую пищу, этот важный момент, возникающий трижды в день, администрация безнадежно портила, заставляя вкусить предваряющий глоток экстракта хвои. От этой горчайшей смеси икается, содрогается желудок несколько минут, и аппетит безнадежно испорчен. В стланике этом был тоже какой-то элемент кары, возмездия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.